

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Б.Ф. Инфантьев о русской культуре

Образ Латвии 20-х – 30-х годов в творчестве русских зарубежных писателей

Борис Инфантьев

Статья «Образ Латвии 20-х – 30-х годов в творчестве русских зарубежных писателей» была опубликована в журнале «Диаспоры»¹ в 2002 году. Альманах публикует рукописный вариант статьи, хранящийся в архиве Бориса Федоровича Инфантьева.

Еще не был заключен Латвийско-Российский мирный договор, как русские писатели (речь пойдет о тех литераторах, которые постоянно проживали за пределами Латвии) оказываются на территории молодой независимой демократической республики. Первые ласточки — советский прозаик с дипломатическим паспортом, уроженка Риги Лариса Рейснер и полурижанин-полупарижанин Георгий Иванов.

Л. Рейснер еще до войны и в первые ее годы опубликовала в Риге несколько художественно-литературоведческих произведений; теперь она в статусе журналистки входит в состав советской делегации на мирных пере-

говорах с Польшей. Журналиста-дипломата интересует, прежде всего, как выглядит независимая республика, а также положение здесь русских, особенно советских военнопленных, все еще томящихся в неволе.

«Ей нравились старинные улочки, — рассказывает о пребывании Л. Рейснер в Латвии в 1920 г. С. Шоломова, — немые свидетели средневековья; нравилось любоваться готикой зданий. Истинное наслаждение доставляла латышская речь»². В «Путевых заметках», опубликованных по горячим следам в «Известиях», журналистка отмечает и не совсем приятные для нее факты: «Рига окружена кольцом разрушенных фабрик. Предмestья зияют проломленными стенами, выбитыми стеклами и почвой, до сих пор изрытой снарядами немецкой тяжелой артиллерии»³. Особое внимание Л. Рейснер привлекло Учредительное собрание, ведь в России подобное учреждение «погибло в самом расцвете своих юных дней». Од-

нако от посещения латвийского парламента в ее памяти остался только «отблеск парадного великолепия», который светил с роскошного потолка «золотой гербовой залы старой дворянской Риги... на лысины и фраки демократических избранников»⁴.

Другой очерк посвящен судьбе пленных красноармейцев, вынужденных шинковать в ресторане Рудзита «буржуазную» капусту для питания рижских толстосумов. Из среды этих несчастных вербуются будущие врангелевцы. Но красное знамя, гордо реющее над гостиницей, в которой разместились советская делегация, кажется журналистке «цвета туго пульсирующих жил, надутых черным гневом на лбу и висках». Корреспонденции Л. Рейснер были восприняты русской публикой Латвии более чем критически. Известный журналист и общественный деятель Н.Г. Бережанский в своей заметке под красноречивым заглавием «Впечатления о Риге мадам Курдюмовой»⁵ возмущен характеристикой латвийской столицы как центра «искусственного игрушечного государства», а всей жизни в Латвии как «представления захудалого провинциального театра, на подмостках которого изображается цветущий город». «И где, собака, так навострилась писать», — завершает свой отклик Н.Г. Бережанский, цитируя Гоголя.

Для Георгия Иванова и Рига, и Латвия также никакой экзотики не представляли. В пятиэтажном доме своего тестя, адвоката Г. Гейнеке (на улице Тургенева, 4/6) и на фешенебельной даче на взморье русский писатель-эмигрант с супругой — весьма частые гости. Увиденное и услышанное не остается только в его сознании. На страницах парижских «Последних новостей» появляется пространный очерк Г. Иванова «Московский форштадт»⁶. Прогуливаясь вместе с автором по этой своеобразной части города, читатель минует «забор, утыканный гвоздями от воров», проходит двор, «буйно поросший бузиной и сиренью», входит в «узкие сумрачные комнаты». Ничто не ускользает от взгляда очеркиста: ни домотканые «половики», ни «мебель персидского

ореха, обитая зеленоватым или коричневым репсом восточного рисунка», ни «угловые, на восемь персон», диваны, ни «выкрутасистые» кресла. Описания доносят объемы, цвета, запахи: «Пахнет пылью, лампадным маслом, жареным кофе, шалфеем, еловыми ветками, которые для здоровья подвешены к печной выюшке». На стенах обязательные портреты «высочайших особ». Николай Павлович на коне. Царь-Освободитель в гусарском ментике. Александр III, рука его заложена за борт сюртука. Мария Федоровна «в русском уборе». Рядом с ними «портреты генералов или духовных лиц — Паскевич Эриванский, Кутузов, Иоанн Кронштатский...». На торговом пятакке за Гостиным двором — рижская «Сухаревка». «Здесь прохожих поминутно хватают за фалды краснощекие старообрядцы и библейские еврейки». «Милый барин, дай погадаю, будешь счастливым, женишься на богатой», — скороговоркой твердят цыганки, окруженные множеством «хорошеньких, жутко грязных цыганят». Иной мир с явными приметами нищеты, хулиганства, порока начинается за толкучим рынком. «Через дом на Московской чайная или трактир. Трактир «Ягодка», ресторан «Америка», чайная «Золотой рог»... Из поминутно распахивающихся дверей вместе с чадом и гулом голосов вырывается «старорежимная», сладкая форштадскому сердцу музыка: «Пропал я мальчишка», — несется из «Ягоды» или «Америки», «Пожалей ты меня, дорогая», — хрипло откликается из «Золотого рога».

Во втором очерке — психологический портрет, незавидная участь известного каждому на форштадте ростовщика Ивана Севериновича, по прозвищу «Жила». Никогда и никому не сказал он сочувственного слова, ни одному форштадцу не помог. Совсем как пушкинский «скупой рыцарь», он бережно, не дыша, поднимал крышку длинного сундука и любовался просроченными закладами, которые «никогда уже не унесут» из «низкого рыжего дома», очень похожего на «заржавелый уют». Среди закладов — золотые часы с массивной цепочкой. Драгоценность эту приказчик Сережка Зубов украл у купца, своего хозяина. Сестра приказчика, Шурка, вместе с «жилей» стряпухой Аксиной, просит ростовщика вернуть часы, иначе Сережке грозит тюрьма. Возмущенный такой нелепой просьбой, ростовщик («тысячную вещь» — и отдать без выкупа!) гонит просительниц вон из затхлых своих поко-

ев. Но Шуркины мольбы и Аксиныны упреки разбредили старика, и после долгих и тяжелых раздумий ростовщик ночью относит дорогой заклад стряпухе, чтобы та завтра вернула его Шурке. И покой, и благодостное умиление воцаряются в душе Ивана Севериновича. «Он сейчас же и засыпает. Во сне он видит золотые часы, которых совсем не жалко, и Сережку Зубова, который кланяется и благодарит». Но действительность оказалась и страшнее, и жестче. Проснувшись от какого-то подозрительного шороха, ростовщик видит «наглое, перекошенное красивое лицо Сережки». Трагически поздно исчерпанный конфликт решает удар Сережкиного топора...

Для газеты «Сегодня» парижский очеркист подготовил своеобразное сопоставление Рижского взморья и заграничных пляжей, причем, разумеется, предпочтение отдавалось первому⁷.

«Балтийский ветер шумит ветками сосен и морской зыбью. Если он дует к берегу, море сразу теплеет и купальщики, как утки, часами плещутся в нем, не желая уходить. Но ветер меняется, вода сразу становится ледяной — 12 градусов, окунуться, ахнуть и обратно на берег. Старуха билетерша собирает плату за шезлонги. 12 сантимов? Дорого. На Champs Elysees стоит ровно половину. «Банкрутики» в ослепительных халатах щурятся на воду, дымят кепстеном и бросают ленивые замечания о «кошмаре» банковских дел. Выражение их глаз непроницаемо; что они думают про себя — неизвестно. Граммофон играет где-то танго: модницы готовятся к очередной «гала» (с пивом и отбивной) и репетируют сложные «па»».

Г. Иванов пристально следил за событиями и отражал в своих очерках (на русском и французском языках) немало исторических фактов из недавнего прошлого Латвии, да и вполне злободневные. Тут и интервью с Бермондтом Аваловым о мировой «резне», а уже в 30-е годы — лестные отзывы о новом порядке, введенном К. Улманисом: «Политика в нынешней Латвии, — информировал писатель все русское зарубежье, — с ее близостью к народным массам как бы переплетена с поэзией народной души, и этот ее поэтический элемент очень интересен и поучителен для современного читателя»⁸.

В 1921 г. на территории Латвии побывали целых четыре русских зарубежных литератора: М. Цветаева, И. Северянин, И. Эренбург и А. Белый. Но лишь трое последних отобразили современную им Латвию в своих произведениях.

А. Белый проездом в Германию решил в Риге переночевать. Но у него была транзитная виза, и прямо из гостиничной постели полицейским он был препровожден к берлинскому поезду. Рассерженный писатель разразился памфлетом, который через некоторое время был опубликован в Ленинграде⁹.

Русский писатель «был наслышан о радостной и обильной жизни в счастливой Латвии». Но Рига его не обрадовала: «в воздухе стоял густой, октябрьский туман, а в воде отражался серый свинец тумана». По его «поношенной шляпе и удивительному пальто» безошибочно можно было «узнать носителя большевистской заразы» и «бесстыдно драть с него бешеные деньги». «Некоего в сером» встретила «бесконечно скучная и банальная серая эмигрантская газетка». Надменные граждане Латвии, «гордые своим носом и полнотой желудка», услужливо указывали «Некому» на то, что все, что он здесь видит и слышит, является «чем-то роскошным и выдающимся». Но «Некто» вместо выдающейся роскоши видел «подавляющую безвкусицу» и «плохо одетых, по-русски говорящих кепочников». Его смущало то, что «в уважаемых лицах на уважаемых улицах великолатвийской столицы не было глаз... Вместо глаз — лишь дырки без взгляда живого человека», лишь «надглазья и подглазья в виде черного котелка и роскошной шубы... Лицо исчезло в одежде».

«...Рига в те дни не особенно любила Советскую Россию; и в те дни Рига также Германию не любила, но все же все, на что падал взгляд «Некоего» — все было вчерашняя Россия, вчерашняя Германия, только на скорую руку перекрашено «охрой» латышского мещанства...».

Совсем другие воспоминания о первой встрече с Латвией остались у Ильи Эренбурга. Его в совершеннейший восторг приводили рижские булочные и колбасные магазины. В их витринах он подолгу разглядывал, «будто редкие безделки антиквара, хлебцы различ-

ной формы, сосиски, пирожки». «Меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны, названия блюд звучали, как стихи»¹⁰.

«Когда наконец мы доползли до Себежа, дипломат сказал нам: «Товарищи, скоро латвийская граница. Там буфет, помните о советском престиже — не набрасывайтесь на еду...» Я решил не выходить из вагона. В Ригу мы приехали вечером, и, вытащив чемодан в маленькую гостиницу, я сказал Любе: «А теперь в ресторан...» Я оглядывался, будто шел на нелегальную явку: неудобно, скажут, советский гражданин только приехал — и сразу ужинать... Не знаю, были ли порции слишком большие или мы отвыкли от еды, но я не смог одолеть даже половины бифштекса... Пообедав, я останавливался возле булочной или колбасной — разглядывал хлебцы различной формы, сосиски, пирожки... Я изучал меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны; названия блюд звучали как стихи».

Особенно плодотворен в контексте нашего исследования был 1922 год. В Риге проездом Владислав Ходасевич с женой (Ниной Берберовой), Владимир Маяковский, Алексей Толстой, приехавший сюда с литературными концертами. Чета Ходасевичей поражена обилием непонятных вывесок на латышском языке. В письме московским друзьям они пишут: «Всюду “tirgotava” и “veikals”. Остается предполагать, что это приветствия и пожелания всякого благополучия». Поэтому и друзьям посылаются приветствия в виде tirgotava и veikal¹¹. Сам же поэт запечатлел свое пребывание в Риге стихотворением «Большие флаги над эстрадой»¹².

*Большие флаги над эстрадой,
Сидят пожарные, трубя.
Закрой глаза и падай, падай,
Как навзничь — в самого себя.*

*День, раздраженный трубным ревом,
Небес надвинутую синь
Заворожи единым словом,
Одним движеньем отодвинь.*

И закатив глаза под веки,

*Движенье крови затая,
Вдохни минувший сумрак некий,
Утробный сумрак бытия.*

*Как всадник на горбах верблюда,
Назад в истоме откачнись,
Замри — или умри отсюда,
В давно забытое родись.*

*И с обновленную отрадой,
Как бы мираж в пустыне сей,
Увидишь флаги над эстрадой,
Услышишь трубы трубачей.*

В. Маяковский отправился в капиталистический мир «не удивляться, а удивлять». Но Латвия его самого так «удивила», что он разразился огромным стихотворением, в котором и такие слова: «как это ни странно — Латвия — страна». Правда, узнаем дальше, не страна, а «просто полгубернии отдельно лежит». Особенно «поразила» Маяковского армия: «и пушки есть: не то пять, не то шесть!» «На меня, // на одного // уж во всяком случае хватило», — полагает поэт. Далее по косточкам он разбирает компоненты латышской государственности.

*Латвией управляет учредилка.
Учредилка — место, где спорят пылко.
А чтоб языком вертели не слишком часто,
председателя выбрали — господина Чаксте.*

Маяковскому было о чем рассказать в своем стихотворении. «Учредилка» только что «проголосовала» за выдачу властям для репрессий депутата-коммуниста Дермана. Сам поэт мог убедиться в «свободе» слова и манифестаций в демократической республике. Выпущенную почитателями его таланта поэму «Люблю»: «Любовная лирика. Вещь — безобиднее найдите в мире-ка!» // Полиция насчет репрессий вяло // Едва-едва через три дня арестовала». На первомайскую манифестацию «народ повалил валом: // только // отчего-то // распелись Интернационалом // И в общем ничего // сошло мило — // только человек пятьдесят полиция побил».

Маяковского особенно обидело запрещение его лекций, которые так тщательно готовились им и Л. Брик. Эти неприятности поэт отобразил в разделе стихотворения «Культура»:

В Латвии
даже министр каждый —
и то томится духовной жаждой.
Есть аудитории.
И залы есть.

Мне и захотелось лекцишку прочесть.
Лекцию не утаишь.
Лекция — что шило.

Пришлось просить,
чтоб полиция разрешила.

Жду разрешения
у господина префекта.
Господин симпатичный —
в погончиках некто.

У нас
с бумажкой
натерпелись бы волокит,
а он
и не взглянул на бумажкин вид.

Сразу говорит:

«Запрещается.

Прощайте!»

— Разрешите, — прошу,
ну чего вы запрещаете?

Вотще!

«Квесис, — говорит, — против футуризма
вообще».

Спрашиваю,
в поклоне свесясь:
Что это за кушанье такое —
Квесис ?

«Министр внудел,
— префект рёк, —
Образованный,
знает вас вдоль и поперек».

«А Квесис
не запрещает,
ежели человек — брюнет?»,
спрашиваю в бессильной яри.

«Нет, — говорит, —
на брюнетов запрещения нет».

Слава богу!

(я-то, на всякий случай — карий).

Но чувства, питаемые к правителям, Маяковский не распространяет на народ, о чем можно убедиться в разделе «Народонаселение»:

В Риге не видно худого народонаселения.
Голод попрятался на фабрики и в селения.
А в бульварной гуще —
народ жирнющий.
Щеки красные,

рот — во!

В России даже у нэпистов меньше рот.

А в остальном —

народ ничего,

даже довольно милый народ.

Народный поэт Латвии Я. Судрабкалн впоследствии назвал Маяковского «Гулливом у злобных лилипутов». Тогда же, по горячим следам, за это стихотворение здорово досталось Маяковскому на страницах «Рижского курьера», в котором местный журналист назвал советского поэта «вздыбленным на скаку пошлости, разврата и бюрократства». «Отсюда мораль вообще: зря, Маяковский, на Латвию клеветашь»¹³. Латвийское правительство в следующую поездку визу поэту больше не дало, что побудило его к созданию афоризма: «Не плюй вниз в ожидании виз». И все же Латвия, как первая заграница для Маяковского, оставила в его сознании неизгладимое впечатление. В своем идейно-программном стихотворении «Товарищу Негте — пароходу и человеку» он сформулировал коммунистический лозунг: «Чтобы в мире без России, без Латвий жить в едином человечьем общежитии».

Латвия — и в других стихотворениях поэта.

Недовольный медлительностью печатания афиш МОНО, Маяковский вспоминает медленное маневрирование поездов на границе, в Себеже или в Зилупе, где «вагоны полдня на месте маневрируют»¹⁴. А всю разницу между Ригой и Мехико поэт видит лишь в том, что «в Риге режут быков на бойне», а в Мехико — «в театре», и если «зонтик в руке у рижан, а у мексиканцев Смит и Вессон»: «Две Латвии // с двух земных боков // И совсем как в Риге // около пяти // проклиная // мамину опеку, // разжигая // жениховский аппетит, // кружат дочки // по Чапултапеку»¹⁵.

А. Толстой, много страниц своих произведений («Иван Грозный», «Петр I», «Хлеб», «Черное золото») посвятивший давней и не совсем давней истории Латвии, жизни 20-х гг. уделил всего одну небольшую, но весьма впечатляющую заметку: «Роль русского театра на

чужбине, — считают русские люди во всем зарубежье, — на местах колоссальная. Эти русские актеры — эти Гришины, Лаврентьевы, Муратовы, Маршеры — делают огромное общерусское дело. Надо видеть, какой любовью они пользуются у публики, как охотно интеллигенция — и русская, и латышская — ходит в театр, чтобы понять, какие элементы умиротворения создаются на скромных подмостках»¹⁶. За все пребывание в Латвии писатель не слышал ни от кого плохого слова о русском театре.

Однако, такие «плохие слова» прозвучали со стороны местных русских газет после того, как стало известно о намерении писателя вернуться в Советский Союз.

Наступает почти шестилетний перерыв в появлении образа Латвии на страницах русских газет и журналов. Причины тому разные. Для Аркадия Аверченко (с 1923 г. он частый гость со своими концертами в городах Латвии) это нежелание выводить симпатичную ему молодую республику в своих ядовитых очерках и сценках.

А. Коринфскому, автору замечательного цикла стихов «В Латвийском крае» и поэмы «Вячко», не суждено было побывать в любимейшей ему земле латышей тогда, когда они создали свое независимое государство. Но в 1925 г. единственным журналом, на страницах которого публиковались стихи этого выдающегося поэта, оказался рижский журнал «Наш Огонек». Свою благодарность за предоставленную ему возможность печататься (на родине у него такой возможности более не было), поэт высказывает в посвященном юбилею журнала стихотворении, которое начинается с такого воспевания демократической Латвии: «В свободной Латвии, чужд партий всех оковам, Для чувств и дум моих так близок (хоть далеко), Горит за рубежом «Наш (русский) Огонек»¹⁷.

В том же 1925 г. латвийское правительство, помня о критических публикациях Л. Рейснера, А. Белого и В. Маяковского, отказало в въездной визе Константину Бальмонту, политическое прошлое которого, как известно, было весьма противоречиво. Это обстоятельство, однако, не ослабило интереса русского поэта к латышскому языку, к творчеству ла-

тышских поэтов, не помешало ему посвятить прочувствованные стихи рижскому «Нашему Огоньку»¹⁸ и его редактору В. Гадалину¹⁹, воспевать Латвию вместе с Литвой в своей автобиографической поэме «Морской сказ»: «Литва и Латвия, Поморье и Суоми, Где между сосен финн Калевалу пропел, Меж ваших слов брожу в родном я доме»²⁰.

В 1926 г. К. Бальмонт участвует в переключке русских зарубежных писателей, сливших голоса в приветствии Рижскому драматическому театру, праздновавшему свой юбилей: «Русские в Латвии — доброе Слово, Братья по крови — старинный закат. Латвия — море, и это не ново. Выпить нам с братьями полный бокал. Русские вечно желают свершения, Каждая правда в свершеньи светла. Латвия — море! В нас море и пеня, В Латвии русским артистам — хвала»²¹.

Юбилей Театра Русской драмы «из приморской глуши» приветствует и Игорь Северянин²².

*Из приморской глуши куропатчатой,
Полюбивший озера лециные,
Обновленный, весь заново зачатый,
Жемчуга сыплю вам соловьиные —
Вам, Театра Сотрудники Рижского, —
Сердцу, Грезой живущему, близкого;
Вам, Театра Соратники Русского, —
Зарубежья и нервы и мускулы;
Вам, Театра Родного Сподвижники,
Кто сердец современных булыжники,
Израсходовав силы упорные,
Претворяет в ключи животворные!
А ключи, пробудясь, неиссячные —
Неумолчные, звучные, звячущие —
Превращаются в шири озерные...
И, плывя по озерам, «брависсимо!»
Шлет актерам поэт независимый.*

К стихотворным поздравлениям примыкает и не менее поэтическая проза. Вот слова известной очеркистки Тэффи: «Счастливая Рига. Она празднует юбилей своего театра. У нас есть свой русский театр с хорошим репер-

туаром, с великолепными артистическими силами. С каким волнением, развертывая газету «Сегодня», встречаешь в театральных анонсах и рецензиях милые знакомые и славные имена. Завидуем Риге»²³.

Ей вторит и отец русского драматурга В. Набокова: «...Пора пожелать молодому русскому театру в Риге продолжения уже достигнутых им успехов. Не верьте, господа «молодое поколение», что императорская сцена [а рижский русский театр в какой-то мере был ее наследником. — Б.И.] была «казенщиной», «рутиной»»²⁴.

1929 г. помечен новым взлетом внимания русского восточного и западного зарубежья к Латвии и латышам, в том числе и к латышам за пределами своей родины.

Б. Зайцев печатает повесть «Анна», где рассказывает о страданиях латышского фермера Матвея Гайлиса, в свое время переселившегося в Сибирь, организовавшего там весьма рентабельную свиноферму. Надежда на конечное торжество справедливости не покидает Матвея Мартыновича ни на минуту: «...Ничего мне плохо не будет, я хороший латыш, я со всеми в миру, и с царскими был, и с советскими... Я все сам, своим горбом нажил...»²⁵. Но мечты и надежды рушатся. Трагически погибает и свиноферма под ножом самого хозяина, и сам Матвей Мартынович, и «народная мстительница» Анна.

В 1928 г. Ю. Тынянов проездом в Берлин вновь встретился со своей родиной. Сколько воспоминаний! Сколько новых наблюдений! Все они выливаются в мастерски написанный очерк, помеченный 1 мая 1929 г., из которого приводим отрывок, характеризующий Латвию 20—30х гг.: «Рига стоит. Медленно уходит домой старый латыш, помолчать еще двадцать лет с женой, и на сыром солнце кажется рыжим овсом ворс его куртки. Война идет и проходит, как прошла корова в темный лес. Он получает письма от сыновей. Один — доктор у кривичей, другой в городе адвокатом. В Латвии много тяжб: из-за канавы, из-за березы, из-за земли. Адвокат много зарабатывает, но мало пишет. Третий сын скоро придет — в городе тихо и его рассчитали. Старик думает: к кому перейдет земля после смерти?

— Лаб деан! (Добрый день!)

— Вассала! (Здорово!)

Рига стоит. Немецкие дрожки и немецкие клеенчатые извозчики, которых уже нет в Германии, у вокзала; вокзал деревянный, с застрехами и коньками. Золотой и зеленый ворс цветет на шинелях офицеров. Адвокаты в заграничных котелках поддерживают за локоть сильных, веснушчатых женщин. В мире неповторимы только походка, почерк и древесный рисунок указательного пальца: у офицеров, адвокатов, носильщиков — согнутые широкие спины и одежды на них болтаются. Все ходят в перевалку, тянутся за невидимым плугом, все — переодетые крестьяне. А в буфете сидят старики, говорящие по-русски с польским акцентом, и у них красные, расплющенные между Россией и Германией лица. А на белых столиках стоит перед ними кофе, ликер и, небольшими порциями, самодовольная, искусственная вдовья тишина»²⁶.

В 1929 г. в Ригу на продолжительное время приезжает преуспевший в Париже публицист крайне правого толка А. Седых. Цель его поездки — проникнуть на советскую границу и захватить горсть русской земли. С помощью латвийских властей, оказавших журналисту всяческое содействие, ему удалось свою цель осуществить. Но среди результатов поездки оказалась и книга «Там, где была Россия», изданная в Париже в следующем, 1930 г. Читатель получил довольно четкое представление и о самой поездке, и о встрече автора с группой эмигрантов, возвращающихся в СССР, и о советских плотогонах, которые в Риге с опаской и неохотой слушали расспросы чужестранца об их советском житье-бытье, и о повседневных делах рижских и латгальских староверов, и о подвижнической жизни архиепископа Иоанна.

Приводим несколько фрагментов из книги А. Седых.

«Рига. Улицы в образцовом порядке, чисты, на углах эффектные полицейские «картибники» — в белых перчатках, театральными действиями регулируют движение. Город наряжен, тонет в зелени, приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языках». «Рига теперь латышский город, это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и к чести латвийского правительства надо сказать, что этот русский дух не особенно старались искоренить». «Русский язык

в Латвии пользуется такими же правами гражданства, как латышский и немецкий. С телефонной барышней вы говорите по-русски, полицейский объяснит вам дорогу на чистейшем русском языке, в министерстве вам обязаны отвечать по-русски; любой извозчик знает, что «Дзирнаву иела» есть не что иное, как старая Мельничная улица. Русская речь слышится на каждом шагу. Первые два-три дня приезжий оглядывается на говорящих, а потом привыкает к тому, что у всех в руках русская газета «Сегодня». Из утренних газет она наиболее распространенная, покупают ее не только русские, но и немцы, и латыши... На улице то и дело попадаются чисто русские типы — люди в косоворотках, в картузах. Каждое утро вокзал выбрасывает на рижскую мостовую латгальцев, приезжающих в город по делам или в поисках работы. Здесь увидишь бабьи платочки, косынки, смазные сапоги, всклокоченные бороды, услышишь чистейшую русскую речь. А за каналом начинается Московский форштадт. Ты чувствуешь себя совсем в России, мостовые выложены крупным булыжником, пролетка безжалостно подпрыгивает, вас бросает из стороны в сторону. По обеим сторонам Большой Московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колоннами. Деревянные ставни откинута на крючки, на окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с канарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты внаем, «с утренним самоваром»; комнаты здесь огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетках с бронзовыми застежками... В подворотнях девушки луцат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе постукивает подковками... Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской сельдью. А за прилавком отпускают покупателям лососину, которой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники... У дверей стоит бородатый мужчина в рубаше навывпуск и с массивной серебряной цепочкой через живот — должно быть сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру, не сходит ли попариться в баньку? Банька здесь же, в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиваки или банки. А после баньки можно зайти в трак-

тир — в «Якорь» или «Волгу», закусить свежим огурчиком, выпить чаю с малиновым вареньем... Так живут на Московском форштадте русские люди — отлично живут, не жалуются».

Заслуженное внимание уделяет Андрей Седых такой рижской достопримечательности, как Гребенщиковская моленная. Из пространныго повествования о храме, богоугодных заведениях и людях в них приведем только рассказ эконома об удивительном, единственном в своем роде иконостасе моленной.

«Входим в моленную. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из тяжелых серебряных риз. Старообрядцы гордятся своими иконами.

— Подобных во всей России теперь не найти. Рублевской школы. И мастеров таких нет, давно секрет потеряли... Вот, изволите обратить внимание, Успенье Божьей матери — наш храмовый праздник. А это вот Никола Беженец. В пятнадцатом году, во время эвакуации увезли его в Москву, да впопыхах не успели вынуть из киота. Так и отправили. А вернулся он через десять лет, по договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось... И с той поры называем его Никола Беженец. Миняя месячная — тончайшее письмо. Если в августе родились — вашего святого разыщем... Старинная икона «Всякое дыхание да хвалит Господа». Живописец изобразил тигров, лошадей, змей, птиц поднебесных — одним словом, всякое дыхание... Соловецких святых замечьте: преподобные Зосима и Савватий — пчеловодам покровители. Народную поговорку знаете: на Святого Пуда вынимай пчел из-под спуда? Так вот, пятнадцатого апреля это выходит. Тут, значит, пчеловодам и следует помолиться преподобным... А это Неопалимая Купина — от пожаров охраняет. Есть еще от пожаров и молний заступник — преподобный Никита. Ему молиться следует тридцать первого января...»²⁷.

В латгальских деревнях и хуторах А. Седых нашел допетровскую Русь. «Черные стародавние покосившиеся избы, скрипящие в ненастье ветряки, непроезжие, расхристанные дороги». В деревне Борисовке парижский литератор попал на последние проводы крестьянки. Моленную заполнили крутоплечие бородачи. На них были «длинные, до земли кафтаны». Слева, за перегородкой, стояли женщины в темных платках. И старческие, и молодые, и детские лица «объединяло общее выражение — торжественное, сосредоточенное, умиленное».

Звучали нигде не слышанные, скорбные песнопения, «бабы подпевали тоненькими голосами». *«Наступил момент прощания. Из толпы по двое стали выходить мужики. Становились по бокам гроба, низко кланялись всему миру. И все молящиеся им в ответ. Потом прощавшиеся крестились, падали ниц, били покойнице земной поклон, трижды касаясь лбом холодных плит мольной. А встав, кланялись друг другу и уступали место»*²⁸.

И снова многолетний перерыв, и последний цикл паломничества мастеров русского слова в Латвию захватывает вторую половину 30-х гг. В 1936 г. сравнительно длительный отрезок времени в Латвии провел И. Шмелев. Лечился в Инчукалнском санатории, ездил в Псково-Печерский монастырь, находившийся тогда на территории Эстонской республики, путешествовал по Латгалии.

В опубликованных П. Пильским воспоминаниях писателя²⁹ рассказывается о том, что Шмелеву понравилась латгальская ярмарка. «Особое приятное впечатление на меня произвел воспитательный отдел. В Латгалии, надо признать, высока сельскохозяйственная культура. У вас отличные грунтовые дороги». Все виденное заставило сделать вывод: «Вера в способности русского народа [а таким Шмелев, видимо, считал латгальцев — Б.И.] у меня не угасает». Особенно отметил писатель (как это делал Ю. Тынянов, вспоминая Латгалию конца XIX в.) страсть латгальцев к коневодству: «Он поставит ребром последнюю копейку, чтоб вырастить и выходить рысака».

Наблюдательный взор Шмелева отметил много положительных черт латыша: любовь к порядку, к труду и, «главное, то, что здесь все работают с охоткой и любовно».

Москвич, влюбленный в старину, верный преданиям, он не мог не посетить и Гребенщиковскую старообрядческую общину. Большое впечатление на писателя произвел храм-молельня. С большим чувством Шмелев говорил П. Пильскому о старообрядческом наставнике И.С. Мурникове: «Обаятельный человек, этот Мурников! Просвещенный. Отлично объясняет все».

Н.С. Тихонов посетил независимую Латвию летом 1937 г. в составе делегации советских журналистов.

Эта поездка живо напомнила писателю его юность, когда он — гусар царской армии, проделал путь отступления от Слоки до Лифляндской границы, и каждой латвийской местности, где останавливался его эскадрон, посвящал по стихотворению. Эти творческие пробы пера стали подлинной школой поэтического мастерства и впоследствии были изданы как первый сборник стихов поэта под заглавием «Жизнь под звездами».

В путевых заметках Н. Тихонова³⁰ читатель видит Ригу, «тонувшую в зелени, в цветах». На «знаменитом кладбище воинам» писателя поразили «действительно выразительные статуи и скульптурные группы». Кегумская плотина, обед с министром иностранных дел в «живописном доме в Сигулде», принадлежавшем некогда князю Кропоткину, осмотр завода Кюне, детской колонии под Ригой, сельскохозяйственного института в Елгаве, поселков рижского взморья — столь насыщенной была программа ознакомления советских журналистов с достопримечательностями Латвии.

«Дом Черноголовых, старый город, мост через Даугаву, Верманский парк, маленькие городки побережья вызвали во мне много картин ранней юности, и я не мог не вспомнить друзей далеких лет, с которыми я делил боевые дороги первой мировой войны, с которыми приезжал после оперы в Риге прямо в сырые коридоры окопов на Пулеметной горке или в Тирульских болотах».

Эти воспоминания юности уберегли Латвию от иронических замечаний, на которые поэт не скупится, рассказывая о своих наблюдениях в Эстонии и Литве. Но вот Лиепая, в которой Тихонов в 1916 г. не побывал, а знал о ней по роману Риахчиотто³¹, оставила далеко не благоприятное впечатление: *«В Лиенае было пустынно, тихо и грустно. Я увидел пустой город, без жилищного кризиса, так как не было людей. Порт, лишенный былого значения, прозябал. В сухом доке стоял какой-то старенький пароходик — железный старичок с таким видом, что он не хочет больше выходить на воду — хватит, поплавал! В мастерских порта было запустение: холодный ветер мел железные обрезки и соломенную труху. И только утром на набережной было оживленно и даже красиво».*

Писатель вновь оживляется, когда оказывается лицом к лицу с трудовым людом: «Боль-

шие рыбацьи лодки, вернувшиеся с ночной ловли, подымали целую рошу мачт над разноцветными платками лиепайских хозяек, пришедших за рыбой. К этому надо еще добавить специфический запах — смесь соленого ветра, холодной, пахнувшей водорослями воды, запах смолы, дегтя, крепкого табака, сырых снастей и мокрых свернутых парусов. Серебристый блеск чешуи, отливы черных, просмоленных бортов, тяжелая темнозеленая вода и отраженные в ней облака и тени людей запомнились мне, и с тех пор, когда я говорил о Лиепae, то неизменно вспоминал это серое, ничем не замечательное утро и многоцветно живущую набережную».

И. Бунин собирался познакомиться с Ригой еще в 1926 г. Корреспонденту газеты «Сегодня» он говорил тогда, что его как художника «манит своеобразный колорит Риги, обволакивающая город дымка средневековья»³². Однако, оказавшись в 1938 г. в Латвии, лауреат Нобелевской премии, по словам журналистов, сопровождавших писателя в поездке, пришел в восторг от величественных преобразований облика как самой Риги, так и ее окрестностей.

«Ваша прекрасная столица, — говорил он корреспонденту газеты «Земгалес балс», — поразила меня своим европейским видом, и я удивлен той быстроте, с какой здесь исчезают старые затхлые избы и возникают новые грандиозные строения и вместительные площади. Приятно ощутить высокий уровень культуры вашей страны и своими глазами убедиться, в какой великой чести и с каким уважением в вашем государстве относятся ко всем отраслям искусства»³³.

Но восторг И. Бунина превзошел все ожидания, когда друзья привезли его в Кемери. Его поразила новая гостиница, подобные которой «редко встречаются даже в больших западноевропейских странах».

Каков же образ Латвии меж двух войн — независимой демократической республики — оставили последующим поколениям русские писатели, знакомившиеся в разных условиях с этой молодой, только что образовавшейся, набирающей силу страной? Многое зависело от политических установок авторов, которые видели в природе, людях республики то, что прежде всего хотели увидеть. Один облик Латвии предстает перед нами в публикациях коммунистов и им сочувствующих — Л. Рейснер, А. Белого и В. Маяковского; другая картина — в книгах и беглых интервью А. Седых, И. Шмелева и И. Бунина.

Однако такая дифференциация наблюдается не всегда. Советским писателем Н. Тихоновым Латвия воспринимается более позитивно, чем таким заядлым антибольшевиком, каким был Г. Иванов. Восторженные строки «попутчиков» коммунизма И. Эренбурга и Ю. Тынянова перекликаются с не менее восторженными строками Тэффи и А. Коринфского. И резко негативные, и самые благожелательные отзывы сегодня воспринимаются как своего рода дискуссия, которая формировала не только определенное отношение к новой республике, к ее социальнополитическому строю, но и развивала общественно-политическую мысль — самих авторов использованных нами публикаций, их читателей и поклонников.